

Антон КОЛОКОЛОВ

г. Петрозаводск

Родная ладонь

Песчинки... Одна к одной, их размывает волной. Песок желтый.

Щека к щеке лежим на теплой подушке. Рядом дышит теплом кто-то родной, а утро встанет раньше тебя. В открытые ставни влетает странник-ветерок, замороченный, суетливый, играет занавесками. Забыли закрыть окно. Он легко станет кружить над столом, успокоится в пустой, бледной от нарисованных голубоватых цветов вазе, подняв пыль на дне и выпустив ее на свет.

Ладонью проводит по голове мама. Тепло. Улыбаешься ей, ужасно хочется есть, а она так пахнет молоком, что текут слюнки.

Прибегаешь домой с прогулки — хватает в объятия сестра, треплет по волосам, прижимает к себе. Щека к щеке. Хорошо становится, а на кухне в кастрюле — овсянка на молоке. Ах, как же хочется есть!..

Родная ладонь проводит по волосам, по щеке. Щека к щеке просыпаешься рядом с ней — с любимой. Еще хочется дышать ее теплом. Жена ласково улыбается, а ты вспоминаешь, что так уже было... И ужасно хочется есть!

Маленький теплый комочек, сопящий, пахнущий молоком — так по-родному. Маленькие ладошки цепляются за волосы, усы, стягивают очки на кончик носа. Хочется смеяться от счастья и целовать это живое чудо. Думаешь о том, как дочь вырастет, что-то вспоминаешь, и хочется самому ее кормить. Смотришь на жену и даже завидуешь ей немножко. А грудь такая красивая и налитая... И снова хочется есть, хотя недавно пообедали...



Песчинки... Одна к одной, их размывает волной. Песок желтый. Щека к щеке лежим на теплой подушке. Рядом дышит теплом кто-то родной, а утро встает раньше тебя. Теплая ладонь проводит по лбу, он мокрый от пота, глаза закрываются, и уже не знаешь точно, чья эта ладонь, уже не понимаешь, кто лежит рядом и пахнет молоком. Волосы седые, бороду кто-то перебирает маленькими родными ручками. Слышишь, как с ветерком в комнату влетает тепло, оно зовет голосом мамы. А чья ладонь проводит по волосам — уже не важно. Ветерок будто пытается разгладить старческие морщинки, что-то вспоминается, а есть почему-то не хочется. Хочется спать.

В полусне чувствуешь, что скоро проголодаешься. Тепло, но так спешишь на этот мерцающий впереди свет, как пыль из вазы, подхваченная ветерком. Так хочется почувствовать у себя на лбу родную ладонь, что начинаешь кричать.

Песчинки. Одну к одной прибавляет волна к берегу.

Семечка

Вночи дорога песочной змейкой петляла между холодным белым снегом и иссиня-черным небом. Ярко-жёлтая, как пшенная каша, луна в темных разводах облаков, словно запачканная ластиком, впитывала в брюхо холод и светила оттого как будто ярче. Люда तोпилась домой, оставалось идти еще около часа, скрип снега уже не пугал ее. Глаза на ходу закрывались, клонило в сон, в затуманенной голове вертелись образы: ведра с грязной водой, половые тряпки, бабушкины рейтузы — их надо было заштопать и постирать. Было холодно. Продрогшая Люда, обняв себя руками, несла свое тело к дому. Шаги быстрые, сапоги черные, осенние...

«Почему это Машка опять грозилась пожаловаться на меня Панкратовичу? И чего я натворила такого, что могло ее так разозлить? Ну, уснула на пять минут, все равно смены дожидаться... Приду домой, приготовлю манки, завтра утром ребятки покушают. А что с бабушкой?

Холодно... Спать-то как хочется... У-а-а!..» — зевнула Люда, прервав тем самым ход мыслей. Она стояла посредине дорожки, желтой от рассыпанного песка, как и тремя километрами ранее. Стоя и задремала, сама не заметила как. Далеко вперед тянулась желтая песочная змейка, снежные поля, укрытые ночью, — ни одного деревца, а еще дальше черная полоска леса, совсем черная. Очень холодно. Фигура Люды тихонько покачивалась из стороны в сторону — как одинокая березка. Ветра не было. Только холодно. Стеганный пуховик серого цвета, поверх — толстый шерстяной шарф. От дыхания, сонного и размеренного, покрылись белым налетом инея светло-русые локоны, выбившиеся из-под синей вязаной шапочки. Ужасно хотелось есть.

Люда снила¹ о бабушке, детях... «Бабушка жарила такие вкусные семечки... Все лето мы с мальчишками щелкали их, слушали радио. Что там с бабулей? Как она? Может, выпишут скоро? Скорее бы... А я денежек подкопила. Косыночку новую бабуле купим, пусть себе семки жарит. Есть ужасно хочется! Главное, чтобы Толик заначку не нашел! Пропьет ведь, балбес!» — мыслилось Люде в полусне. Луна, толстая, сытая, висела над снежными полями. Люда потянулась к ней, запустила руку в глубокую, будто глиняную, лунную миску с пшенной кашей на молоке и масле, загребла и, поднеся к лицу, стала вдыхать аромат. Каша в руке дымилась, но совсем не обжигала, на пальцы налипли бусинки крупы, желтенькие...

«...Толик! Ты опять напился?! Последние копейки-то не у меня забираешь, детей пожалей! Ирод!..»

Снова увидела Люда свою ладонь, загребла из лунной тарелки еще, второй рукой, соединила ладошки, полные пшенки, вкусной, парящей.

«Как же есть-то хочется...»

Руки поднесла совсем близко, лизнула — так вкусно — начала хрустеть песком. Проснулась.

— Да что же это?! — удивленно спросила себя женщина, пережевывая песок.

— Ой, батюшки! Уснула... А сколько времени-то? — не на шутку всполошилась она и

¹ Снить (диал.) — видеть сны.

поднялась с колен. Как оказалась стоящей на коленях на той самой песочной дорожке, Люда и сама не знала. Руки все были в желтом песке, на зубах скрипело. Она отряхнулась, выхватила из кармана маленькие часы без ремешка. Было холодно, и очень хотелось есть.

— Батюшки! Три часа ночи! Хорошо, что хоть проснулась! — вырвалось у Люды, и это окончательно прогнало остатки сна.

«Могла и замерзнуть... А как же тогда детишки?!»

Обхватив себя руками, чтобы согреться, Люда быстрыми шагами пошла по песочной дороге, искоса поглядывая на жирную луну, похожую на тарелку пышущей пшеничной каши. Потом вспомнила про вареники, достала из кармана, надела — их связала бабушка.

«Бабуля совсем плоха стала... И врачи говорят... Но все хорошо будет, она сильная у нас, бабулька...» — Люда думала так, улыбалась, а впереди горел первый одинокий фонарь, виднелись крыши пригородных деревянных домиков, в одном горел свет.

«Бабушка? Выписали...»

По-доброму скрипел снег, потом дверь и половицы. В доме было тепло, пахло подгнившей картошкой, которая давно завалилась за скамью. В комнате тихо, на печке спали мальчишки и Настенка, а за столом сидел Толик, обхватив голову руками. Крупный затылок с серо-седоватой щетинкой стиснули широкие, лопатовидные, грязные пальцы с желтыми заскорузлыми ногтями.

«Ногти бы ему подстричь... Накопался в своих карбюраторах... Пьяный, что ли?..»

Толя поднял голову — взгляд был осмысленным, но печальным. Он молчал. Станным показалось Люде, что муж не снял сапоги — наследил по всему дому. Она разделась, открыла холодильник — там было пусто. Потом сняла с полки пакет с манной крупой, заглянула в него.

«Да... Всего ничего. Ребятам на утро хватит. А есть-то как хочется...»

— Ребятам на утро хватит, а завтра мне зарплату дадут... — обратилась Люда к молчаливому мужу. — Я сегодня за Дашу вымыла. Всё. Вот.

Толик молчал и даже не смотрел в ее сторону.

— А бабуле купишь платочек... Съездишь в город... Угу... — продолжала разговаривать сама с собой она: — Так, ну мы потерпим, ты в столовой у себя поешь, а я как-нибудь... Угу...

Бабули нигде не было, каша побулькивала в белой кастрюльке на плитке.

«Не выписали, значит... Чего Толя-то не спит?»

— А ты чего не спишь? На работе что?

— М-м-м... — непонятно промычал в ответ Толик.

Люда подошла к окну, раздвинула занавески — на небе лепешка пшеничной луны висела над белыми полями и желтой змейкой-дорогой, уходящей во тьму, а далеко виднелась черная полоска леса, еще более черная, чем ночь. Ужасно хотелось есть. Кто-то из малышей испуганно пискнул на печке. Люда резко повернулась — за столом сидел Толик с пустыми полуприкрытыми глазами, руки сложил в замок. Ему очень хотелось спать.

«Чего это он в сапогах-то?!»

— Чего это ты в сапогах-то? Увалень! Ну-ка сымай, сымай давай! — заругалась на мужа Люда. — О... Семечка...

На белом подоконнике лежала крупная черная семечка. Люда взяла ее, понюхала — жареная. Аккуратно расщепила скорлупки, положила их в карман вязаной кофточки. Еще раз понюхала. Положила ядрышко в рот.

«Вкусная, как у бабушки... И есть совсем теперь не хочется. Хорошо...» — думала Люда, медленно пережевывая семечку.

Она смотрела на улицу, на белый снег и желтую сдобную луну. Есть уже не хотелось. Люда думала, почему Толик не снял сапоги, почему не лег спать. Думала о том времени, когда выпишут бабулю и она снова будет жарить вкусные семечки, а потом все вместе они будут слушать радио.

На улице послышался приближающийся звук мотора, заскрипел снег. В дверь постучали.

— Одевайся, Люд... Егорыч это. В город поедем...

Улыбаясь на бумаге

Просыпаешься на берегу, а небо, кажется, никогда не спит.

Каждый хранит свою тайну. Я берегу свою. И в каждом слове есть что-то от моей тайны. И так страшно, когда люди говорят. Страшно, когда не думают. Надо писать — так проще. Лучше я напишу. (Лиля, одна из значимых писательниц своего века.)

— Здравствуй... — грустно сказала Лиля и повернула голову, посмотрела, что написано на стене дома, возле которого мы встретились.

— Привет, Лиля! — ответил я, делая вид, что не подозреваю, о чем она грустит. А написано на доме совершенно неприличное замечание ребятам, слушающим музыку группы «Король и шут».

— Как дела?

— Хорошо, а у тебя?

— Тоже хорошо... — совсем грустно сказала она и опустила голову, уставилась на ремешки коричневых босоножек, до красноты пережимающие ступни на подъеме.

— Как отдохнула? — бодро продолжаю я.

— Хорошо, мы с родителями на юг ездили. Накупались, назагорались... Я вот тебе подарок привезла! — сообщила она и протянула белый пакет, который все это время держала в руках.

— Спасибо!

Я заглянул в пакет — там лежала огромная ракушка, покрытая лаком, на ней было написано «Сочи-2000», а рядом — маленький прозрачный пакетик с деревянными бусиками.

— Спасибо...

— Ага, они можжевельные, понюхай, как пахнут!

— Угу, — сообщил я, но нюхать не стал, закрыл пакет и спросил: — А чего ты такая грустная, Лиля?

— Я? — глупо уставилась она на меня. — Я не грустная...

— Ага...

— А как ты лето провел? — поспешно перевела разговор Лиля.

— Хорошо. На даче был, с друзьями гулял... —

торопливо ответил я. — Ну, еще в Питер к сестре своей смотался. Я соскучился по тебе.

— Да? — резко спросила она и снова опустила голову.

— Да, Лиля...

— И я по тебе, Миша. Миш?

— Чего?

— Ты не обидишься? Ты не обижайся... Мы же только чуть-чуть поцеловались. Понимаешь... Так получилось! Понимаешь? — затараторила она.

— Ты чего?

— Миш, так получилось... Давай мы с тобой друзьями останемся, а?

Я молчал, а Лиля ковыряла стену указательным пальцем, при этом уставившись в нее пустыми слезящимися глазами, одна нога у нее была слегка подогнута в коленке. Я смотрел на нее, на кремовое летнее платье, только сейчас отметил, что она очень загорела, подумал: «Надо было сделать комплимент...» На правой руке, той, которой она трогала стену, были три браслетика из ракушек. У нее, как всегда, короткий черный ежик волос на голове, а губы красные, сладкие. Лиля сунула мне в карман рубашки белый конвертик и исчезла навсегда. В письме все оказалось таким легким и простым: свежий ветерок, южные ночи, добрый отец, загорелый Егор, легкое помрачение рассудка, секс на берегу, залет... В следующем письме Лиля грустно улыбалась мне и слала привет из женской консультации. Она сделала аборт.

Я поехал к сестре работать на питерской стройке.

Просыпаешься на берегу, а небо, кажется, никогда не спит. Каждый хранит свою тайну. Я берегу свою. И в каждом слове есть что-то от моей тайны. И так страшно, когда люди говорят. Страшно, когда не думают. Надо писать — так проще. Лучше я напишу. (Лиля, одна из значимых писательниц своего века.)

Никто не учил меня улыбаться, поэтому я никогда не делаю этого. В моей прошлой жизни существовало два человека, которые могли бы вызвать у меня подобие того движения мимических мышц, отдаленно напоминающего

улыбку. У двери детдома, кряхтя, поднял меня с земли, завернутого в грязную простыню, дворник Степан Ефимович, прокашлял: «Детеныша подкинули!.. Вот сучки, плодятся ведь еще же, курвы, как кошки... Шо ж ты лыбишься, дитятко? Хреново все для тебя на ентом екарном свете, а ты лыбишься... Тя ж мамка бросила! Вот замирз бы совсем, коль ни дидка Ефимыч! Энти ж пока опомнятся...» С такими словами, поправляя тряпку, в которую я был завернут, дед Ефимыч и постучал в двери детдома № 43. Ему я «давил лыбу», как любил поговаривать дед.

Второй человек появился для меня значительно позже, после армии, Чечни, после головной боли и бессонных ночей. Лиля пришла ко мне из дискотечного безумия, появилась из табачного дыма и кривых усмешек ее подруг. Пьянство того вечера довело нас до постели в моей скромной опочивальне. Хамство ее мамы довело меня до сумасшествия. Сумасшедший к тому времени дед Ефимыч скончался тогда же у ворот детдома № 43 с метлой в руке и недопитой бутылочкой портвейна в кармане. Я не знал об этом еще долго. Дольше, чем успел стереть в памяти мою маленькую Лилю. Ей я улыбался как мог, когда гладил черный ежик ее волос, целовал ее красные сладкие губы, особенно часто, когда был пьян. Я читал ее письма в камере, нюхал их и вспоминал. Она улыбалась мне из этих писем и слала привет из далекой Франции.

Просыпаешься на берегу, а небо, кажется, никогда не спит. Каждый хранит свою тайну. Я берегу свою. И в каждом слове есть что-то от моей тайны. И так страшно, когда люди говорят. Страшно, когда не думают. Надо писать — так проще. Лучше я напишу. (Лилия, одна из значимых писательниц своего века.)

Я читал эти строки на камне, торчащем среди остальных таких же на кладбище возле провинциального французского городишки, курил сигарету за сигаретой, думал, что эта женщина приписала моей жизни неплохой конец. Она дала мне детей и оставила нам права на свои произведения. Эта женщина, которую я никогда не любил... А любил ли ее кто-ни-

будь? Эту тайну знала только сама Лиля. Она улыбалась мне с холодного камня своими красными сладкими губами, такая молодая, с коротким ежиком черных волос.

Семь шумных минут

«**Н**а часах половина восьмого... Значит, скоро должны позвонить! Семь... Нет, восемь минут... Который час?! Половина восьмого. На часах...» — так в голове моей фразы обрываются другими мыслями. Остается совсем немного до звонка. Должны сказать, как прошла операция. Я лежу на кровати в светлой ночной рубашке, присыпанной то здесь, то там синими розочками и будто лепестками, больше похожими на зеленый горошек. Глаза открываются и закрываются через каждые семь ударов сердца. Последние медленные «тук-тук» — глаза открываются. Медленно, как занавес в театре. Быстро — моргаю на секунду. Последние «тук-тук» — закрываются.

«Следующая остановка...» — проносятся визгливые отголоски сна в моей голове...

Смотрю на часы — тридцать одна минута... «Осталось семь, нет, восемь минут! Нет, шесть...»

Надо вставать, и хочется пить. Скидываю одну ногу, в реальности она медленно скатывается по простыне, свисающей на пол. «Нога левая...» — проносится отголосок сна мимо, задевая взгляд, несется в открытую форточку, там гудит грузовик, проносится легковая машина, слышны голоса девушек, куда-то очень спешащих. Скидываю вторую ногу. Ползу взглядом к часам — тридцать две. «Надо успеть. Не думать...» Но мысли уносят меня в больницу, где лежит на белом столе моя доченька, маленькая, на правой ножке шрам от качелей... «Это ничего, моя любимая...» — мысленно поглаживаю ее по ножке. Последние медленные «тук-тук» — открываются глаза, а на часах ровно тридцать минут. «Все приснилось!» — говорю себе я в уме.

«Двери закрываются», — в моей голове сообщает противным голосом какая-то женщина.

Встаю. Плетусь по комнате, натыкаюсь пле-

чом на открытую дверцу шкафа, вскрикиваю, морщусь... Прижимаю рукой правое, ушибленное плечо, ежусь, потягиваюсь. Сколько там на часах?... Поворачиваюсь, перед глазами проносятся стены, оклеенные белыми рельефными обоями, фотографии деда и мамы с папой, наше семейное — муж с дочкой, я с сыном и дочкой. Множество образов проносятся мимо, а на улице проезжает авто с долбящей музыкой. На часах — половина. «Как медленно тянется время...» — размышляю я, поворачиваюсь, вижу перед собой женщину в строгом синем костюме. Она сообщает мне противным голосом: «Двери открываются... Следующая остановка...»

Я открываю глаза, подсакиваю на месте — сижу в кровати, свесив одну ногу, быстро смотрю на часы — тридцать пять! Вскрываю, меня пошатывает, бегу в ванную, сажусь на унитаз, встаю... Снимаю трусы, сажусь на унитаз, опять встаю... Открываю крышку, сажусь. Слышу в себе — «тук-тук-тук» — сердце бьется... Прикрываю веки. «Сердце бьется, и слава богу!» — отмечаю про себя я. Не открывая глаз, потягиваюсь, зеваю. В голове появляется образ моей девочки, она сидит на скамейке с большими белыми бантами, смеется, я тянусь к ней руками.

Открываю глаза, встаю, плетусь в ванную, наклоняюсь над блестящей раковиной, плюю в нее. Плюю еще раз, сама не знаю зачем... Открываю воду, кран со свистом и воем плюет оранжевую ржавчину прямо мне в подставленные ладони, урчит, подвывает, выпускает наконец чистую воду, которая волнуется еще чуть-чуть и принимает форму ровной струи. Волнение начинает расти где-то внутри меня. Умываю лицо. Зеваю. И... натягиваю трусы.

Звонок.

— Алло?

— Алло, это районная... — отвечает гнусавый женский голос.

— Как моя девочка? — кричу я в трубку.

— Все... — женщина зевает.

— Что все? — шепчу я упавшим голосом.

— Ваша остановка...

«Какая... остановка...» — растягиваются слова, образы в голове как облака — плывут своей дорогой в желтое поле ржи. Там скачет белая

лошадь, бегают и смеются дети, свистит чубатый казак. «Всё, двери открываются...» — так же мысленно приходит мне ответ. Сжимаются внутренности, вся я сжимаюсь в маленький потный комочек, зависаю в воздухе и шлепаюсь о кафельный пол, брызги разлетаются по всей ванной.

Я резко открываю глаза, понимаю, что описалась и по-прежнему лежу на кровати, вскакиваю, смотрю на часы — тридцать семь минут... В прихожей разрывается телефон.

— Алло... — спрашивает приятный мужской голос.

Горсть земли

Холодно, как же холодно здесь... Очень болит живот, кто-то копается в нем руками, ворочает внутренности. Больно. Где-то громыкает, я знаю, что это не гром.

— Держись, Леночка, не плакать! Тампон давай, дура! — раздается жесткий мужской голос.

Что вы со мной делаете, изверги? Леночка, помоги. Нет, добейте лучше... В голове так ясно. Холодно снаружи, внутри ясно. Мокрая тряпка на лице. Лечу-у-у... Воемся-то как славно! Вот лежу на земле в разорванной армейской рубашке. Леночка сидит, плачет, на коленях сидит и плачет. А доктор поливает ее матом почему свет стоял. Дура, других спасай, а доктор прав, все, не жалец... Прорвали пузо гранатой... Фашисты! Так их! Молодец! Награду тебе от товарища Сталина! Что мокрое такое на лице, посмотрю... Тряпка мокрая, красная, нет, в крови она. Я уже подумал, может, флагом накрыли... Не-ет, не герой, Егора пусть накроют! Тепло становится, хорошо... Уходят они, доктор с Леночкой, к Егору идут... Мертвый он! Эй, не идите туда! Эй! Не слышат.

Больно как! Холодно... Что же это они тряпку-то с лица не снимут. Скорее бы...

На лице махровое полотенце, смоченное водой, прохладное, синее... кто-то приподнимает край, свет бьет в глаза... Мама! Мамочка, что со мной?

— У тебя жар, сыночек, простудился... Маленький... Перекупался, соколеночек.

Как же холодно, накройте меня платочком пуховым, бабушкиным. Жарко, голове жарко!

Молятся, слышу, мама надо мной, полотенце махровое, прохладное на лице, тяжелое. А ворсинки длинные, теплые, как будто сотни маленьких гномиков обхватили меня своими пальчиками. Темно, но знаю я, что оно, полотенце, синее. Мама, дай воды, пить больно хочется.

Холодно, тряпка на лице и пахнет потом, жареным мясом, кровью. Тошнит. Пить хочется! Дайте воды. Громыкнуло. Дайте воды, я не говорю, я шепчу там, в голове. Дайте пить!

— Пи-ить!

Стоны рядом, крик слышу. Шаги близко.

— Леночка! Этот кричал... С тряпкой! — басом рывкнули надо мной.

— Показалось... — плачущий писк санитарки, — этот нет... Матвей! А вот того помоги на носилки погрузить, в санчасть потащим...

Что ж ты, Леночка! Вон я какой еще живой! Тряпку-то уберите! На солнышко посмотреть...

На лице махровое полотенце, сейчас мама снимет его, боль пройдет, станет хорошо, но почему я не чувствую тела? Где ноги... Руки... Раздираю слипшиеся веки, солнце бьет в глаза, методичный звук трущейся о песок лопаты. Кто-то побряхтывает надо мной, табачком пахнет. Махорки, братцы, махорочки бы. На лицо падает что-то. Будто сотни маленьких гномиков обхватили мое лицо пальчиками. Меня притягивает небо, поворачиваюсь, вижу свои голубые, устремленные в никуда глаза, вижу нескольких из «трофейщиков», они обследуют трупы фашистов, один работает с лопатой над моим телом, отбрасывает инструмент, смотрит в небо, на меня. Эй! Здесь я! Машу тебе рукой! Эй!

Солдат затачивается самокруткой, наклоняется, загребает горсть земли, бросает на глаза — они одни были не покрыты. Он берет лопату и быстро закапывает углубление в земле.

Как же хочется побыть еще там, ведь земля она как махровое полотенце. Холодная, чуть-чуть тяжелая, но с теплыми, приятно ласкающими лицо ворсинками. Где-то слышатся залпы, и все как будто хорошо. Знаю, что скоро закончится война.

Пока они еще рядом

Пришла весна! Новое солнце угощает нас очередной порцией тепла, а когда хорошо, то и думается легко, беседа получается вполне сносной даже с незнакомым человеком. Сразу вспоминается мне молодость, не совсем чтобы и молодость, конечно, но тогда на кладбище сидел — к отцу приходил.

Незнакомый человек подобрался ко мне незаметно около получаса назад, молча присел рядом и, подперев подбородок кулаком, тихо замычал хорошо мне знакомую старинную мелодию известной песни. Я обернулся — седой, коротко стриженный старик, он смотрел мне в глаза своими светло-серыми, выцветшими глазами, но очень тепло смотрел, пронизываяще до самых кончиков пальцев теплом. Он улыбался. Борода ухоженная, волос к волосу в сантиметр длиной, плавно переходила в короткий седенький ежик, распределенный по всей верхней части головы до загорелой, тонкой, но жилистой шеи. Ни одной проплешины видно не было. Старик был одет в светло-серый летний пиджак, того же цвета брюки, из них торчали босые, покойнички-бледные ноги. И, что меня удивило, с совершенно чистыми пятками. Старая розового цвета рубаха была расстегнута до середины. На тощей груди старика виднелись с десяток длинных седых и курчавых волос.

Я молча протянул старику папироску, тот отрицательно качнул головой, вздохнул даже немного обиженно, как будто с жалостью, потянулся и заговорил со мной странным, приглушенным голосом. Несмотря на жару, весь я покрылся гусиной кожей, показалось, что со словами у деда вылетают изо рта холодные струи воздуха. Показалось.

— Вот видишь березку, сынок? — задал старик странный вопрос, показывая длинным кривоватым пальцем в сторону леса.

— Угу, вижу...

— Вот ты бы сходил к ней и стаканчик с бутылочкой бы захватил, а?

Я тупо уставился на чекушку водки между своих ног, потом посмотрел на старика, тот улыбнулся, зубы были ровные и белые, потом кивнул мне, что-де правильно понимаю...

— Дедушко, а зачем же туда-то? — с ухмыл-

кой спросил я и добавил: — Давай я тебе и тут налью...

— Эх... Сынок, ты послушай меня, хорошее дело сделай, а?

— Угу...

— Вот... — старик помолчал немного, потом опять потянулся и как ни в чем не бывало прошептал: — Вот видишь березку, сынок?

Я кивнул и медленно поднялся с плиты, на которой было написано крупными буквами «Хрунов А. И. 1912—1980». (Тут был похоронен мой отец, плиту заказывал я сам, черную, у хорошего моего и старого знакомого.) Я двинулся к леску, куда показывал мне дед, там кончались оградки и росла высокая трава, тот плелся сзади. Дошли до довольно крупной березки, я коснулся ствола, посмотрел вверх — там далеко в кроне ветви нежно обнимали солнце. Посмотрел на старика — тот улыбался.

— Сынок, ты знаешь, я ведь не специально... Смотрю — сидишь... — как-то смущенно, извиняясь, пробормотал он.

— Да чего ты, дед? — махнул я рукой, налил в стакан водки и протянул ему, тот отрицательно покачал головой.

— Тебе от бабушки Зоси привет. Она брату твоему, Мишке, семки жарит, ты ему скажи...

— Ты чего это, дед, знаешь бабушку мою, откуда это? — удивленно спросил я, тот улыбнулся, махнул рукой.

— Старик, да только умерла она, чего ты чушь городишь? Чего Мишке-то сказать?

Дед опять махнул рукой, потоптался на месте.

— Ты, сынок, бросай это дело сам-то, — пробормотал он, кивнув на стакан, — все хорошо будет у тебя... Вон, смотри, какой большой вымахал!

Старик резко воздел вверх руку, я на автомате проследил за его движением, небо было синее, а ветви березки все так же ласково обнимали солнышко. Захотелось выпить, я опустил голову. Когда поднял глаза, дед уже пропал. Постоял я так еще, как вкопанный постоял. Вылил полстакана под березку, сам не знаю зачем, поставил пустой стаканчик в корни дерева, бутылочку — рядом и пошел домой.

Пока шел, вспоминал, как по молодости (когда-то был еще моложе) копал трофеи вой-

ны, заодно, если кости находили, так хоронили солдат по-человечески. Много тогда таких неизвестных нашли на поле одном, а ночью как будто шепот вокруг палатки стоял, неприятно было — так трава шелестела — страшно. Вот и старик этот странный был какой-то. До сих пор я думаю о нем, все забываю, правда, у мамы спросить, она знать должна.

Теплая скамейка, теплая зажигалка в руках. Смотрю на своего нынешнего собеседника. Молодой парень, длинные белые волосы, сидит, пиво пьет. Хорошо ему, наверное.

— Хорошо? — спрашиваю я, улыбаясь.

— Хорошо... — отвечает он и всматривается куда-то в сторону здания университета, видимо учится там.

— О! Идет... — парень выпрямляется, слезу за его взглядом — из здания выскочил молодой мужчина с темными курчавыми волосами, легкими шагами направился к автомобилю.

— Единственный нормальный препод, — четко делает вывод парень и вытягивается на скамейке, ноги — длинные, почти до середины тротуара.

— А чего, сынок, учитель твой?

— Ага, вел у нас на первом...

— А ты чего не на учебе? — машинально спрашиваю я.

— Дык... Это... Пар нет у нас... — лениво выдал из себя студент.

— А-а-а... Эт хорошо, — соглашаюсь я с настроением студента.

Сам не замечаю, как по-стариковски вывожу парня на долгий рассказ о себе:

— А вот я... Да-а! Мне учиться не пришлось... В университете-то. Я шофером после армии устроился, женился... Так и мамка у меня тоже не ученая была, хотя книжки читала, и я читаю. Она уборщицей работала... Поломойкой в общем-то! Сколько себя помню, так и работала. Брат у меня, Мишка, молодой погиб... Сгорел пьяный в своем грузовике — так бабахнуло... Ух!

Я умолкаю на минуту — воздаю почести своим...

Продолжаю:

— Он, конечно, дураком был... Фу! Нельзя так о мертвых... Господи, прости! Все одну фифу любил, а та над ним издевалась как могла.

Это он из-за нее тогда налился. Вот я говорил доче своей: не зови ты сына Мишкой! Дураком вырастет! Назвала же! Михаська, внук-то мой, ну прямо как братец! Нашел себе какую-то Лильку и бегаёт за ней, как пес за сукой! Извини... Она, говорит, ему только и нужна, ее любить всю жизнь собирается! А та беременная с югов прикатила! — я совсем разошелся, выпучивая глаза.

Длинноволосый парень молча продолжает потягивать пиво, даже не поглядывая в мою сторону.

— Извини! А я вот со своей Людонькой — как маму зовут жену-то — бок о бок, щека к щеке, не ссорясь... Тарицать девять лет! И до этого еще... Ну да ладно. Вот сестра моя Настя в Ленинграде живет, внуков тоже нянчит. Бывал в Ленинграде-то, а?

— В Питере был, — недовольно отвечает парень.

Я задумываюсь о сестре, она звонила вчера, волновалась о внучке, та в больнице с аппендицитом. Настька, она неправильно живет, отделилась от всех, дочь — на одном конце, сын — на другом, сама — у черта на куличках! Как так можно, ума не приложу! Как мужа схоронила, так и пошло все... Сам не замечаю, как начинаю говорить вслух, парень тупо на меня поглядывает:

— Бабок полный дом наприглашала! Какие-то вечеринки устраивают, мужиков вызывают! Оторвалась, дура старая! Ой, глаза б мои не видели! Меня с Людонькой приглашала к себе, так со стыда чуть не сгорели! А дочь одна, без мужа, не спит, поди! Глаз не сомкнет! Волнуется она о внучке. Счас позвонила, чтоб треплом пустым поболтать! Ух!

Парень допивает пиво, натужно улыбается мне, кивает, выбрасывает бутылку в мусорку и уходит куда-то в сторону кустов. Я отмечаю про себя, что не знаю ни имени его, не помню, во что он был одет, а только тяжело как-то становится. Смотрю на свои крупные ладони, растопыриваю пальцы. Красивые ладони у меня, отмечаю, бабушкины, поди. Поднимаю руки, вытягиваю перед собой, солнце пробивается сквозь пальцы, ладони становятся темными, ореол вокруг светится, мерцает. Опускаю руки на колени, а передо мной стоит баба Зося в своем синем платице в цветочек, в валеночках, платочке пуховом. Улыбается так, ручки свои маленькие протягивает ко мне, говорит:

— Вот, сыночка, я и тебе семечек нажарила...

А в ладошках семечки поблескивают на солнышке. Теплые ладони, родные, трогают мою седую голову.

□

Антон Валерьевич КОЛОКОЛОВ

окончил Петрозаводский государственный

педагогический университет,

кандидат педагогических наук.

Пишет стихи, рассказы, повести.

Участник творческой группы «Я» при ПетрГУ.

Работает в финно-угорской школе.

Живет в Петрозаводске.

В журнале «Север» публикуется впервые.

